

ЛитРес:

ГРИГОРИЙ АРОСЕВ
ЕВГЕНИЙ КРЕМЧУКОВ



ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ



Евгений Кремчуков

Четырнадцатый

«Евгений Кремчуков»

«Григорий Аросев »

2020

Кремчуков Е. Н.

Четырнадцатый / Е. Н. Кремчуков — «Евгений Кремчуков»,
«Григорий Аросев », 2020

Разделённые столетиями герои повести – русский студент в современном Берлине, сербский революционер в Сараево начала прошлого века и молодой дворянин в не так давно освобождённой от Наполеона Москве – каждый в «своём» четырнадцатом году и каждый по-своему пытаются ответить на вечные и общие вопросы. Что такое судьба и найдётся ли в ней место свободе воли? Что есть история и какая роль отведена в ней «простому человеку» – каждому из них?

© Кремчуков Е. Н., 2020
© Евгений Кремчуков, 2020
© Григорий Аросев , 2020

Содержание

I. Берлин, 28 февраля 2014 года	5
II. Сараево, 27 июня 1914 года	8
III. Москва, 2 октября 1814 года	10
IV. Москва, 2 октября 1814 года	12
Конец ознакомительного фрагмента.	13

Григорий Аросев, Евгений Кремчуков

Четырнадцатый

Повесть

І. Берлин, 28 февраля 2014 года

Если не сейчас, то когда?

Накануне вечером Игорь Тихонов, студент философского факультета университета имени Гумбольдта, шел домой от метро и внезапно обнаружил этот вопрос начертанным по-английски на стене вдоль Ревалерштрассе. Сделанная синей краской, с выделенным оранжевым цветом словом «сейчас», надпись вряд ли была новой, но Тихонов ее заметил лишь на восьмом месяце жизни в Берлине. Впрочем, это было вполне в его философской природе – не видеть очевидное, догадываться о сокрытом. А заметив, не смог избавиться – постоянно повторял эти слова как заклинание. «Если не сейчас, то когда? – пробормотал Тихонов по-русски, рассеянно завязывая шнурки. – If not now when? – повторил он на английском, застегивая молнию на куртке и одновременно с этим захлопывая дверь. – Wenn nicht jetzt, wann dann?» – резюмировал он на языке Иоганна Готлиба Фихте, выходя на улицу из своего подъезда.

Самочувствие было сквернейшим: болели глаза, в висках стреляло, затылок ломило. Вчера около десяти Тихонов принялся читать в оригинале «Замкнутое торговое государство» Фихте. Он настолько увлекся трудным текстом, пусть и давно знакомым в переводе, что, опять же, традиционно для себя потерял связь с реальностью и очнулся только в пять утра. А будильник готовился, как и всегда, прозвонить в семь тридцать. Тихонов, констатировав близость минуты пробуждения, отложил книгу с равнодушием анахорета и немедленно заснул. Через два с половиной часа бодрости не прибавилось ни на йоту, однако на лекции ходить он любил и пока что не прогулял ни одной. Иной студент гордился бы этим, но Тихонов вообще не представлял, что такое гордость (как и многие другие человеческие качества, впрочем). Он всю сознательную жизнь был полностью погружен в собственные размышления и на мирскую суету выделял минимум внимания. Тихонов с детства не отличался буйным нравом. Вопреки внешности, совершенно не «философской» – он всегда был самым высоким в классе, с густыми черными бровями и взглядом, кажущимся яростным, – Игорь вел себя тихо и примерно, никогда не ввязываясь в школьные драки или споры. Внушительный облик оберегал его от назойливых друзей и задиристых недругов, позволяя сохранять собственное достоинство. Он лет в десять впервые прочитал «Отцов и детей», задумался над нигилизмом, что привело его к Добролюбову, а далее по цепочке докатился до Фихте. Знакомясь с ним в подростковом возрасте, человек может добиться лишь одной из двух взаимоисключающих целей: либо прийти в ужас и навсегда отказаться от изучения философии вообще, либо захотеть в ней все-таки разобраться. Тихонов без колебаний пошел по второму пути. Родители, поначалу пребывавшие в легком оцепенении от книг, которые читает их сын (они вдвоем за всю жизнь не прочитали и половины того, что успел одолеть Игорь к десятому классу), в итоге решили не бороться с его страстями, а наоборот, помогать ему и хвастаться им перед знакомыми – вот мол, какой у нас умный сын растет! Однако отцовско-материнская помощь юному философу не требовалась: он лишь изредка просил у них дополнительных денег на книги, когда «карманный» бюджет истощался. А беседовать с родителями он не мог – не о чем, не о рефлексии над деятельностью как ограничении деятельности и в-себе-нахождении эмпирического «Я», в самом же деле.

Ко всему прочему, на днях Тихонов не к месту заразился – инфлюэнцей, типичной берлинской инфлюэнцей. Даже Игорь, с его невнимательностью к окружающим, заметил, что в холодную пору жители Берлина чуть ли не через одного ходят с красными носами и громко сморкаются в общественном транспорте. До недавней поры он этому лишь удивлялся: зимы в Берлине, особенно по сравнению с Москвой, по сути, и не было, так, пару недель поморозило во второй половине января (а с февраля вообще установилась удивительно теплая погода). Но местным жителям – всем! – не хватало, судя по всему, теплой одежды. Сам же Тихонов крайне редко включал и без того неудовлетворительно греющие батареи, чему объяснений находилось ровно два. Первое – чаще всего он просто-напросто забывал покрутить рукоятку, а второе – даже когда не забывал, предпочитал экономить, так как к деньгам, принадлежавшим не ему (учебу и квартиру ему оплачивали родители), он относился внимательно. А несколько дней назад решил проветрить комнату перед сном и, конечно же, забыл об открытой форточке. Наутро еле двигался...

Он вышел, мелко дрожа от холода, на улицу. Довольно тепло, примерно плюс пять, но в таком состоянии спасли бы только пуховик и теплый свитер, а их он за всю зиму так и не вытащил из чемодана. Предстояло пройти четыре дома по своей улице – Симон-Дах-Штрассе, повернуть направо на Ревалерштрассе, проползти по ней метров триста-четырееста (как раз на этом участке пути ему и встретилась засевшая в голове надпись) до Варшауэрштрассе, далее налево на мост поверх путей станции S-bahn, надземного метро, названной в честь улицы, и сесть в поезд.

Он прошел мимо ресторанчика «Культурцайт», где изредка, раз в пару недель, обедал, пользуясь его удобным расположением – буквально полторы минуты от двери до двери. Если бы он обращал внимание на кухню, то вполне мог бы назвать это заведение «неплохим местечком», однако ему было все равно – чай и суп подавали горячими, второе было вполне съедобным, а цены почти не кусались. Больше его ничего не волновало (он бы сильно удивился, узнав, что ресторан специализируется на индийской пище). Следуя мимо, Тихонов в сотый раз отсутствующим взглядом осмотрел аляповатые рисунки, которыми хозяйка «Культурцайта» вполне по-берлински разукрасили стены своего здания, и молвил, обращаясь к одному из героев картин – усатому господину в зеленом костюме, танцующему с большезадой женщиной: «Если не сейчас, то когда?» Усач в ответ хитро подмигнул Тихонову, что последнего слегка напугало.

Он поспешил повернуть на Ревалерштрассе. Слева, из-за заборов, раздавались непонятные приглушенные крики и дикая музыка. Там располагались сквоты, о чем Тихонов был наслышан лишь в общих чертах – по совести говоря, он и точное значение слова «сквот» не знал. Каждый раз краем сознания он подумывал зайти в вечно открытые ворота загадочной территории, но каждый раз забывал о своем желании через мгновенье. Сейчас же, обратив внимание на странные звуки, философ зачем-то поднял голову и напугался еще сильнее – на одиннадцатом доме, точно на уровне таблички с номером, висел... скелет! Что это?! Тихонов прибавил шагу.

Оказавшись на Варшауэрштрассе, он едва устоял на ногах под внезапно свирепым порывом ветра. Физические силы отсутствовали как в связи с недосыпом, так и по причине недоедания. Тихонов постоянно забывал подкрепиться, что никак не прибавляло ему устойчивости. Кажется, в последний раз он ел сутки назад – и на завтрак себе выделил целый бутерброд.

Игорь повернул на длинный мост, ведущий к станции S-bahn. Внизу во все стороны разбегались пути – их было очень много, штук десять. Вдали костью в горле упирался в светло-серое берлинское небо, сквозь которое почти виднелось солнце, шпиль Цвингликирхе. Пришлось миновать четыре киоска с сосисками и прочей гадостью, стоящие парами друг напротив друга. В мозг проник запах еды, спровоцировав растоптанное через секунду чувство голода. Навстречу Тихонову шла толпа. Скорее всего, поезд в нужную сторону ушел и теперь придется стоять на некстати продуваемой всеми ветрами станции (чего доброго еще дождь пойдет –

очень может быть!) минимум три минуты. А то и больше. К тому же философа, шедшего не по рекомендуемой стороне, стали постоянно задевать локтями и сумками. «Я как всегда», – Тихонов на миг включился в действительность. Он спустился на платформу и через дежурные три минуты, окончательно замерзнув, сел в подкатившую желто-красную электричку.

II. Сараево, 27 июня 1914 года

Ako ne sada, kada?

Сейчас, именно сейчас, настала пора заявить о себе. Хотя нет, даже не о себе, а о новой нации, новой стране, которая сможет, которая должна противостоять Габсбургам. Югославянское государство: сколько десятилетий, а то и веков, люди мечтали об этом? У нас есть силы и цели, мы знаем, как надо действовать, и мы можем, мы должны действовать!

Васо Чубрилович, худой ушастый дылда, шел вверх по улице в хорошем, хотя и чуть тревожном настроении. Уже три недели, с тех пор, как белградская группа приехала и слилась с сараевской, они каждый день где-нибудь собирались и обсуждали то одно, то другое. От предельной конкретики – разбора механизма полученных гранат или химического состава цианистого калия – они переходили к тактике борьбы, которой будут придерживаться те, кто пойдет за ними. То, что последователи будут, никто не сомневался – в этом сходились и Неделько, и Мухаммед, и Цветко, и Гаврило, и вообще все. «Террор – наше орудие, и мы им владеем в совершенстве», – чуть заносчиво повторял Принцип. Илич, впрочем, с ними частенько не соглашался, а сегодня так и вовсе предложил отменить завтрашнее покушение. Якобы так кто-то распорядился. «Апис?» – спросил Цветко. «Нет, но кое-кто другой», – многозначительно, хотя и крайне неясно сказал Илич. Однако ему никто не поверил. И как раз по окончании нервного разговора с Иличем, согласно плану, Васо и вышел на финальную рекогносцировку.

Последовательность движения кортежа была известна – ее прямым текстом пропечатали в газетах, редкостная удача, они и не рассчитывали на такое. (Спустя многие десятилетия Васо вспоминал это и диву давался: как же полиция так просчиталась? Разве можно в конце восьмидесятых представить, чтобы маршрут следования Горбачева по какому-нибудь Нью-Йорку – да даже по лояльной Софии! – был опубликован в прессе? А тогда рассказали все в подробностях и даже присовокупили – мол, любезные жители, украшайте свои дома, чтобы эрцгерцог поразовался. Вот сами и виноваты.) Поэтому порядок действий (кто где будет стоять, кому какое оружие взять) был определен почти сразу, как прибыли белградцы.

Теплый июньский вечер накатывал со всех четырех сторон и ласкал, как пока непознанная женщина. Откуда-то со стороны Башчаршии запел мулла. Как же красиво течет через Сараево река Миляцка! Ее вечнокоричневые воды как будто намекают на кровь, которая должна пролиться тут. Кровь, кровь... Только и думаешь, что об этом. А ведь Васо хотел отвлечься от этих мыслей, просто полюбоваться любимым городом. Градишка, где они с Велько родились, слишком маленький, по сути – деревня. Не то что Сараево...

Дольше всего Васо крутился около полицейского управления. Именно там ему выпало стоять во время завтрашних событий. Справа от него, метрах в двухстах-трехстах, будет дежурить Мухаммед, слева – Цветко, а напротив, через реку, – Неделько. Как же все пройдет?

Уму непостижимо, как Илич, этот трус безмозглый, мог предложить отменить их акцию? Не время, дескать. Кто-то там возражает. Национальное чувство таким убийством не разбудишь. Но если не сейчас, то когда? Они готовились несколько месяцев. Планировали перемещения. Искали деньги на оружие – хорошо, что возник Циганович, знаменитый партизан. Учились стрелять. Разбирали эти проклятые браунинги (Чабринович в итоге забыл свой пистолет в духовке одной из гостиниц, где останавливался – ну не болван ли?). А «белградцы» так и вовсе подкупали пограничников, чтобы пробраться на территорию Австро-Венгрии, рисковали еще до начала операции. И после всего этого – вот так взять и отменить? Нет уж.

Васо обогнул собор Сердца Иисусова и оглянулся назад – нет ли слежки. Разумеется, никого не увидел, но даже ему, наивному отроку, ради сомнительных идеалов принявшему

фатальный постриг терроризма, было очевидно, что при желании ему сядут «на хвост» мгновенно и незаметно.

Им овладели страх и робость. Вдруг подумалось: а ну как Илич прав? Не так давно Чубриловичу случайно в руки попала книга какого-то русского автора, фамилию Васо позабыл, а вот одну фразу запомнил почти наизусть: «У меня врожденная страсть противоречить; целая моя жизнь была только цепь грустных и неудачных противоречий сердцу или рассудку». Чубрилович увидел себя в этой фразе так явственно, что едва не ахнул. Даже Велько, старший брат, такой же заговорщик, как и он сам, не был настолько упрямым. «Чего я добился за эти годы противоречий? – спросил сам себя семнадцатилетний Васо. – Жизнь-то, по сути, прожита зря. А сейчас мне выпал шанс все исправить, не только наполнить смыслом свое бытие, но и помочь своему народу освободиться от проклятого габсбургского ига». Нельзя бездействовать. Предыдущие покушения, свершенные за последние десять лет, – так, детские шалости, ничего серьезного. А вот мы...

Васо знал, что ключевая роль отводится вовсе не ему. Точнее, на него не рассчитывают как на главного участника. Все-таки он самый младший, наименее опытный, замученный книгами, чуть нерешительный, порой излишне задумчивый и сентиментальный. «Ты смотри, вдруг все-таки тебе надо будет стрелять – а ты сжалишься над несчастеньким и все проворонишь», – издевался над ним Велько. Но Васо от таких речей только распалялся. Тем сильнее он хотел доказать сообщникам (а брату – в первую очередь), что они не правы, он достоин доверия и способен на поступок, который решающим образом повлияет на политическую ситуацию во всей Европе. Когда же доказывать это, если не сейчас?

– *Dobro vesce!* – неожиданно раздался голос сзади. Васо вздрогнул и судорожно схватился за карман, в десятый раз за полчаса убеждаясь, что браунинг на месте.

III. Москва, 2 октября 1814 года

Перед Большим Москворецким, на Васильевском спуске, он встретил ту же молоденькую мешчанку, которую видел вечер на Мясницкой. Во внешности ее не было ничего примечательного, запоминающегося, разве только едва уловимое сходство с Машей. Впрочем, она, кажется, старше Маши, подумалось теперь.

Но Москва уже третью осень оставалась такой обезлюдевшей, что примечалось каждое лицо. Казалось, не только обгоревший, враз постаревший и исхудавший город, но и сами жители его, и погорельцы, и сохранившие жильё немногие счастливыцы, словно бы *сторонились*, будто все еще не могли привыкнуть к тому, что неприятель изгнан и не вернется. В Китай-городе и Белом городе сами улицы, он знал, расчистили споро, на волне первого всеобщего ликования после бегства француза. Но многочисленные руины и пепелища домов, лавок, присутственных мест почти всюду до сей поры оставались в том же виде, что и позапрошлым сентябрем. Не хватало и крестов на многих церквах, сама колокольня Ивановская в Кремле стояла будто бы с израненною главою.

Каждый раз этой дорогой направляясь в Замоскворечье, он чувствовал, как ускоряет шаг, чтобы скорее пройти мимо Кремля. И не любил хотя Москвы, а все-таки больно и отчего-то неловко было ему смотреть на этого увечного инвалида, в которого превратили прежнего гордого красавца *свобода, равенство и братство...* Обрушившиеся и треснувшие башни, прорванные в пяти или шести местах закоптевшие стены, развороченные взрывами древние, петровских еще времен, бастионы, Арсенал, Грановитая палата и дворец, разрушенные и погоревшие лавочные ряды вдоль кремлевской стены, и на другой стороне площади, и у Василия Блаженного, – все это походило сейчас на толпу нищих оборванцев, кормящихся милостыней у чудом уцелевших храмов. Две зимы укрывали белыми снегами эти пепелища и руины, две весны раскрывали их взглядам прежними и страшными.

И тем поразительней, думал он, что внутри этой разрухи, в глубине обугленных развалин уже бьется в маленьком сердце некая новая будущая жизнь. День-другой, и станет в Москве одним жителем больше, для того они и приехали с Машей сюда, чтобы опытный доктор за нею присматривал, чтобы здесь в заботе и любви явилось на свет Божий их дитя.

– Все к тому, сударь мой Юрий Петрович, что сынок у тебя родится, – раз за разом повторяла ему память хитрую улыбку старушки-соседки, чьи трое сыновей гостили сей год во Франции с гвардейскими полками, а четвертый, младший, в тринадцатом году остался на вечное жительство в немецкой земле.

– Ошибки быть не должно, внутри супруги счастье твоей судьбы, первенец и наследник.

Сын, конечно, сын! разве иначе возможно?! – думал он. Он не говорил об этом с Машей, но был уверен, что и она знает то же самое, он читал это в ее жесте, когда она легко прижимала его ладонь к своему животу и, опустив глаза, скромно улыбалась им обоим – ему и тому, чье сердце билось сейчас под ее сердцем. «Петр Юрьевич, Петруша, Петенька, Петр, Петруша», – повторял он едва не вслух имя будущего первенца, желая и не умея еще заново привыкнуть к нему. Так звали его отца, так будут звать и его сына, который продолжит старинный и славный их род. И Маша, такая еще юная, верная, послушная, так похорошевшая в тягости, она, конечно, тоже обрадуется его выбору и будет согласна с ним, да, они во всем и всегда дальше будут согласны!

Он наблюдал, что, и сама некрепкая здоровьем, его супруга болезненно переживала нынешнее свое состояние. Доктор навещал их дважды в день, но последний месяц ей, видно было, стало совсем тяжело носить. По совершенным пустякам между ними принялись слушаться размолвки, и тогда Юрий Петрович взял привычку чуть не ежедневно ходить в Воскресенскую церковь в Кадашах, где служил отец Иоанн, – просто побеседовать с батюшкой,

успокоить сердце, поставить по свече Божией Матери Феодоровской и образу «Помощницы в родах». Иногда он заходил и в церковь Трехсвятскую у Красных Ворот, возле самого их дома, но эти дальние пешие прогулки в Замоскворечье ему нравились больше: и долгой осенью, и тем, что позволяли побыть наедине со своими мыслями и мечтаниями...

Ах, какую только прекрасную судьбу ни рисовал он в воображении своему сыну! Пропадал из взгляда изувеченный пожаром город, и видел он Машу с младенцем на коленях, играющими в ладушки, смеющегося мальчика с огромными глазами, бегающего по летнему саду за воробьем, юношу, обсуждающего с отцом прочитанную вчера новую книгу или делящегося с ним секретами первой своей любви, статного юнкера, навестившего родительский дом в отпуске из Гвардейской школы, молодого мужчину, полным сил, знаний и талантов вступающего на поприще государственной службы...

Вот и теперь, чуть не столкнувшись у моста с вывернувшимся откуда-то приказчиком, он размышлял о том, как дивно складывается все: как хороша собой золотая эта осень, как хорошо, что война в этом году наконец была кончена – победой священного русского оружия, возвращением государя и войск, началом новой, совсем новой жизни, в которой и ему, вот-вот уже почти отцу, суждено множество счастливых минут. Он взглянул на отражающееся в реке прохладное октябрьское небо и вдруг услышал выстрел, и черная бездна разверзлась у него под ногами.

IV. Москва, 2 октября 1814 года

Небо вернулось. И все фигуры занимали прежние свои места: полуденное солнце, воды реки, птицы над куполами Покровского собора, всадник на набережной, две телеги, несколько прохожих на мосту. За время отсутствия мир не изменился – ни на мгновение, ни на шаг, ни на взмах птичьих крыльев... Юрий Петрович уже привык к этому, только первые два или три раза подобные провалы сковывали его ледяным ужасом – который, впрочем, быстро потом подтаивал и через час оставлял по себе лишь грязную лужицу неприятного воспоминания.

Он полагал это следствием ранения, полученного в двенадцатом году, когда в тульском дворянском ополчении разделял общую судьбу своего Отечества. Зимой, в Витебске, где Юрий Петрович остался на излечении, это случилось с ним впервые, повторилось потом в Васильевском, где он встретил Машу, и с тех пор составляло тайную часть его жизни. Первое время он тревожился, не повреждается ли в уме, однако от ранения он полностью оправился, и окружающие не отмечали в нем никаких внешних перемен. Тогда и сам он оставил мысль о том, что надо бы посоветоваться с докторами, и лишь дважды за два года рассказал близким об этом странном своем новом свойстве: исповедуясь отцу Иоанну, с которым судьба свела его в Витебске, и в минуту откровенности с любимой из сестер, Катей, гостившей на их с Машей свадьбе.

– Душа – искра Господня внутри нас, и она есть то место, где человек бесконечен. – Молодой батюшка, который вскоре делается ближайшим из его друзей, посмотрел на него тогда заинтересованно, но спокойно. – Таинственна жизнь ее, сыне, и многое доступно ей узреть. И скорби те, что открылись очам души твоей, просветлят они твое сердце и прояснят ум, только стойко держись Бога.

Катрин же искренне испугалась его рассказа, стала требовать от него скорейшей поездки в Петербург для консультаций со светилами медицинской науки, грозила в тревоге рассказать и Маше, с которой быстро в те дни сдружилась, и грозной и властной ее матушке, в чувствах даже расплакалась, так что Юрий Петрович пожалел уже о минутной своей слабости и откровенности. Исключительными силами своего красноречия ему удалось успокоить сестру, уверить ее в безопасности и даже увлекательности своих фантазмов, взяв с нее страшную клятву никому ничего не раскрывать. Он был тогда так убедителен, что сумел уверить в этом не только Катрин, а и себя самого. С того вечера он воспринимал необычную свою память как вторые сновидения, похожие на действительную жизнь, но имеющие ничтожно малое к ней отношение. Как будто рассказал вслух страшный сон – и тот утратил свою гипнотическую и противоестественную власть...

И вот опять это беспокойство, и пусто, и опять тянет в груди. И опять грозным и мрачным предстает грядущее, картины которого ему сей час вспомнились на Большом Москворецком мосту. Он сделал едва ли уверенный шаг, мир вокруг сдвинулся вместе с ним.

Юрий Петрович оглянулся по сторонам, пытаясь понять, что за выстрел услышал он мгновением прежде? столетие спустя? Все вокруг было спокойно под спокойным октябрьским солнцем: удалялся спешивший приказчик, никто из немногочисленных прохожих не выказывал никакого смятения, всадник невдалеке на набережной, легко придерживая нетерпеливо перетаптывающуюся лошадь, продолжал, видимо, разговор с господином в черном сюртуке – весь вид неопровержимо указывал, что выстрел почудился одному только Юрию Петровичу. Он взглянул за реку, направо, в сторону Болотной, откуда, кажется, доносился какой-то шум, но нет, и там не было никакого подтверждения его тревоге.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.